

Литрес ≡ Классика

Николай Гоголь

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ  
ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ



Николай Гоголь

**Выбранные места из  
переписки с друзьями**

«ЛитРес»

1847

## **Гоголь Н. В.**

Выбранные места из переписки с друзьями / Н. В. Гоголь —  
«ЛитРес», 1847

Это итоговое публицистическое сочинение великого классика стало его своеобразным духовным завещанием и манифестом, вызвавшим бурные споры среди современников. Отказываясь от привычной художественной сатиры, создатель знаковых произведений эпохи обращается к читателю напрямую с проповедью личного христианского покаяния и нравственного преобразования. В формате открытых писем затрагиваются самые болезненные темы общества – от роли театра и поэзии до обязанностей помещиков, чиновников и женщин в государстве. Вместо политических реформ автор предлагает путь внутреннего исправления каждого человека, искренне веря, что именно через обретение истинной веры и исполнение своего долга возможно преодолеть глубокий социальный и духовный кризис страны.

© Гоголь Н. В., 1847

© ЛитРес, 1847

## Содержание

Предисловие	5
I. Завещание	8
II. Женщина в свете	11
III. Значение болезней	14
IV. О том, что такое слово	15
V. Чтения русских поэтов перед публикою	17
VI. О помощи бедным	18
VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским	19
VIII. Несколько слов о нашей церкви и духовенстве	24
IX. О том же	25
X. О лиризме наших поэтов	26
XI. Споры	34
XII. Христианин идет вперед	36
XIII. Карамзин	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Николай Гоголь

## Выбранные места из переписки с друзьями

### Предисловие



Я был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и приготавливаясь к отдаленному путешествию к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все,

что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключением всего, что могло иметь значение только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.

Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на умение свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочесть ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны – в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благодетелей.

Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем не случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманно и незрелыми сочинениями нанес я огорчение многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается в них умышленно-оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случилось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощенья у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебрежение или неуважение к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощенья у своего брата, так я прошу у него прощенья, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощенья у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, – как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие,

самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.

В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черстой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.

*1846, июль*

## I. Завещание

Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.

I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что и я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других – пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мной ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим.

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, – то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние никому из живущих, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всем нужные, то это знак гнева небесного, отъемлющего сим орудия и средства, которые помогли бы иным подвигнуться ближе к цели, нас зовущей. Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!

IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием «Прощальная повесть». Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя – не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь

польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники, что, и не бывши писателем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в «Прощальной повести», ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся... Может быть, «Прощальная повесть» моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкой, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий – во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою «Прощальную повесть». Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем<sup>1</sup>.

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах: все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекнет мною кого-либо в каком бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развлечения, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих письмах было кое-что послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного.

VI.....<sup>2</sup>

VII. Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе приступавшим ко мне с предложеньями, и только в таком случае предполагал себе это позволить, если бы помог мне Бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь

---

<sup>1</sup> «Прощальная повесть» не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

<sup>2</sup> Статья содержит распоряженья по делам семейственным. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображение Господне». Он всем пожертвовал для труда своего, – труда убийственного, пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один из гравировщиков. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за все; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданиями гравюр и литографий. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники увидеть и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от своего права; тех же моих читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же, по прочтении сих строк, тем более что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено: «Гравировал Иорданов». Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп «Преображения Господня», который, по признанию даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую.

Завещание мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу.

1845

## II. Женщина в свете (Письмо к...ой)

Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете; я думаю напротив. Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой – какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, – на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам, а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены – хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо, как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоит поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду, или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом – всячески помогать, а себе одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте!» Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно; зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем ваш муж не занят какой-нибудь общепольною трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой, его освежающей, и зачем, вместо всего этого, предстоит вам одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья. Но тем не менее свет все же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, – и, увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себе, совершенная правда: вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познания людей, ни познания жизни, словом – ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы

и никогда этого не приобретете; но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту, во-вторых – неопозоренное, неоклеветанное имя, в-третьих – власть, которой сами в себе не подозреваете, – власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, – даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наименьших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наизуворотнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия! Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращение на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудие также сильное. В прибавление ко всему вы имеете уже Самим Богом водворенное вам в душу стремление, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою, как уже, вместо того чтобы сокрыться во глубину вашего домашнего счастья, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счастья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести о бедствиях всякого рода: о голоде, пожарах, тяжелых горестях душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это недаром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с Провидением. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света: самый ваш голос, от постоянного устремленья вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровождение чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью, вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и все испытывавшая с своей гордой самонадеянностью: ее наименьшие убеждения, с которыми она бы захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову; но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. Отчего вы так испугались рассказов о светском разврате? Он, точно, есть, и еще даже в большей мере, чем вы думаете; но вам и знать об этом не должно. Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей, вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства: вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности

распознавать и исцелять болезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас Бог от всякого педантства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет.

*1846*

### III. Значение болезней (Из письма к гр. А. П. Т...му)

...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь – ничего уже не издаст душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принести душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников... Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла.

1846

## IV. О том, что такое слово

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,  
За дела сатирик чтит, —

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда, и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом – мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих. Эта половина од представляет явление поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и при-нужденно; а что хуже всего – здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит суждение о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш П...н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестью его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства», – и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лице-

мерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом – в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П...н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом – выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу просвещения и образования русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремлением к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще – слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои, – говорит Иисус Сирах, – растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

## У. Чтения русских поэтов перед публикою (Письмо к Л\*\*)

Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы: там читали разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас всяк ленив и, пока видит, что другие не тронулись, сам не тронется. Искусные чтецы должны создаваться у нас: среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всему *сочувствовать*. Передать, поделиться ощущением у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильнее по мере того, как живее начинают замечать они, что не умеют изъясниться словом (признак природы эстетической). К образованию чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтения со временем заместят у нас спектакли. Но я бы желал, чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-нибудь истинно стоящее публичного чтения, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной литературе нет ничего такого, да и нет надобности читать современное. Публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести (в том числе и мои) не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обрабатывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигли только того, что сбили и спутали понятия публики о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого поэта теперь двоятся, и никто не может представить себе определенно, что такое из них всяк в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы самое чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и все что ни попало. Прочесть как следует произведение лирическое – вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его – и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтение наших поэтов может принести много публичного добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль – обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас удалившихся поэтов такому употреблению их произведений!

1843

## VI. О помощи бедным (Из письма к А. О. С...ой)

...Обращаюсь к нападениям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастья и ужасы, производимые голодом, далеки от нас; они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами, – вот разгадка и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини, сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначения его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частью случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастье внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж, выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом – всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христианским образом; если же она будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты; вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержание. А потому наставьте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманью предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении; он как бы весь обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить все, что ни захотите. Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастья, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни.

## VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским (Письмо к Н. М. Я...ву)

Появление «Одиссеи» произведет эпоху. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик; «Илиада» пред нею эпизод. «Одиссея» захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдашних людей, с их ремеслами, знаниями, верованиями... словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея» или что бы в ней было пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемым колодезем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий; все это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама «Одиссея» позабыта. Участь «Одиссеи» странна: в Европе ее не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, – уху его послушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в большую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот презирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод «Одиссеи» вышел не рабская передача, но слышалось бы в нем *слово живо*, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановление, воскресенье Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обставились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, – охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких неперевавшихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появенье произведенья стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь

с отчетливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой.

«Одиссея» произведет у нас влияние, как *вообще на всех*, так и *отдельно на каждого*.

Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести *вообще на всех*. «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно, если примем в соображение то, что «Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку.

Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умен: он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивши единство и единосилие на множество образов и сил. Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми: пророки им не говорили, Христос тогда не родился, апостолов не было. Нет, народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога в Его истинном виде, имея в руках уже письменный закон Его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнет, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то что он, по невежеству, взывал к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гестестов, Гелиосов, Киприда и всей вереницы, которую наплело играющее воображение греков. Словом, многобожие оставит он в сторону, а извлечет из «Одиссеи» то, что ему следует из нее извлечь, – то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама «Одиссея», то есть, что человеку везде, на всяком поприще, предстоит много бед, что нужно с ними бороться, – для того и жизнь дана человеку, – что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то *общее*, тот живой дух ее содержания, которым произведет на всех впечатление «Одиссея» прежде, чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картин и живостью описаний; прежде, чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранило ее ни вааянье, ни живопись, ни вообще все древние памятники; прежде, чем третьи останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, чем четвертые будут поражены глубоким ведением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный старец, законодатель и своего и грядущих поколений; словом – прежде, чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в «Одиссее» разнообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности. И все потому, что слишком осязательно слышен этот дух ее содержания, эта внутренняя сущность его, что ни в одном творении не проступает она так сильно наружу, проникая все и преобладая над всем, особенно, когда рассмотрим еще, как ярки все эпизоды, из которых каждый в силах застенить главное.

Отчего же так сильно это слышится всем? Оттого, что залегло это глубоко в самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как хотел он облечь во всю обворожительную кра-

соту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях, как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что есть в нем и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще, а всем вообще оставить пример в своем неутомимом Одиссее на общечеловеческом поприще.

Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом – все, всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановлениями не были определены отношения людей, когда люди еще многого не ведали и даже не предчувствовали и когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!

И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать неуместной длиной поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучшего на своем веку и в своем веке. Можно бы почесть все за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глупы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер – миф, а все творения его – народные песни и рапсодии!

Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас «Одиссея» *отдельно на каждого*. Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять всякую мысль до ясности почти осязательной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда забываем, а именно: по тех пор не приниматься за перо, пока все в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать все в памяти. Еще более, чем на самих писателей, «Одиссея» подействует на тех, которые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно их предшественники.

Во-вторых, «Одиссея» подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу «Одиссеи» может появиться много истинно дельных критик, тем более что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на «Одиссею». Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих

лет. Читатели будут от этого не в убытке: критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечитать, оглянуть вновь, почувствовать и перемыслить; пустой верхогляд не найдется даже, что и сказать об «Одиссее».

В-третьих, «Одиссея» своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского во всем, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точнее его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все ее извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противоположностей совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи: их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всем величии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устами какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возратить его возвышенное достоинство умением поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате, где все сияет ясностью зеркала, начиная от потолка до паркета: всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки, именно потому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате.

В-четвертых, «Одиссея» подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний человек, как живой, так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня: как готовится он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировую критерой, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной задвижки у дверей, — все перед глазами, еще свежее, чем в отрытой из земли Помпее.

Наконец, я даже думаю, что появление «Одиссеи» произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственною волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время «Одиссея» поразит величавою патриархальностью древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной, младенческой ясностью человека. В «Одиссее» услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

Что может быть, например, уже сильней того упрека, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством

своей религии, позволявшей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, с своею непокорной, жестокой, несклонной к повиновению природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, – одним только простым исполнением этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков, так что все в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нем богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, – со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего, и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем.

Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!

## **VIII. Несколько слов о нашей церкви и духовенстве** **(Из письма к гр. А. П. Т...му)**

Напрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь раздаются на нашу Церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало в ряды европейских крикунов и начало, подобно им, печатать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаем плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что Церковь наша безжизненна. – Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг?» Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, – и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!

Нет, храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь! Это значит уронить ее. Только и есть для нас возможна одна пропаганда – жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть *жизнь*; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народ, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвинулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!»

## IX. О том же (Из письма к гр. А. П. Т...му)

Замечание, будто власть Церкви оттого у нас слаба, что наше духовенство мало имеет светскости и ловкости обращения в обществе, есть такая нелепость, как и утверждение, будто духовенство у нас вовсе отстранено от всякого прикосновения с жизнью уставами нашей Церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться с нами чаще, участвуя в наших ежедневных собраниях и гульбищах или входя в семейные дела, – это было бы нехорошо. Духовному предстоит много искушений, гораздо более даже, нежели нам: как раз завелись бы те интриги в домах, в которых обвиняют римско-католических попов. Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими. У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: исповедь и проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресенье, можно сделать очень много. И если только священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нем и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на исповеди и проповеди, как никогда ему не сказать на ежедневных с нами беседах. Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие Самого Бога, внимающего равно им обоим, и слышался бы обоюдный страх от Его незримого присутствия. Нет, это даже хорошо, что духовенство наше находится в некотором отдалении от нас. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они отделились от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся от осмнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл: она по образу и подобию той одежды, которую носил Сам Спаситель. Нужно, чтобы и в самой одежде своей они носили себе вечное напоминание о Том, Чей образ они должны представлять нам, чтобы и на один миг не позабылись и не растерялись среди развлечений и ничтожных нужд света, ибо с них тысящу крат более взыщется, чем с каждого из нас; чтобы слышали беспрестанно, что они – как бы другие и высшие люди. Нет, покамест священник еще молод и жизнь ему неизвестна, он не должен даже и встречаться с людьми иначе, как на исповеди и проповеди. Если же и входить в беседу, то разве только с мудрейшими и опытнейшими из них, которые могли бы познакомить его с душой и сердцем человека, изобразить ему жизнь в ее истинном виде и свете, а не в том, в каком она является неопытному человеку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и над самим собою. Он должен с Спасителя брать пример, Который долгое время провел в пустыне и не прежде, как после сорокадневного предуготовительного поста, вышел к людям учить их. Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех.

## Х. О лиризме наших поэтов (Письмо к В. А. Ж...му)

Поведем речь о статье, над которою произнесен смертный приговор, то есть о статье под названием: «О лиризме наших поэтов». Прежде всего благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасен тобою, о мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетневу в «Современник» мои сказания о русских поэтах; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже надумать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе прежде всего моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда подумаю, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно – что-то близкое к библейскому, – то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю Церкви, «Пророк» и, наконец, этот таинственный побег из города, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякий раз становится как-то неизмеримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием «Гений»; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенея,  
Пророк на небо улетал,  
Огонь могучий проникал  
Живую душу Елисея.  
Святыми чувствами полна,  
Мужала, крепла, возвышалась,  
И вдохновеньем озарялась,  
И Бога слышала она.  
Так гений радостно трепещет,  
Свое величье познает,  
Когда пред ним гремит и блещет  
Иного гения полет.  
Его воскреснувшая сила  
Мгновенно зреет для чудес,  
И миру новые светила —  
Дела избранника небес.

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновенье с верховным источником лиризма – Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской

природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них – *Россия*. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире, и он сам как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России – слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову выражаться так широко и торжественно всякий раз, где ни коснется он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на нее Баторий:

...Повелительный Стефан  
В один могущественный стан  
Уже сбирал толпы густые —  
Да ниспровергнет псковитян,  
Да уничтожится Россия!  
Но ты, к отечеству любовь,  
Ты, чем гордились ваши деды,  
Ты ополчилась. Кровь за кровь —  
И он не праздновал победы!

Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному Промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех видимо зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духовидец, который уже может в *зерне* прозревать его *плод*. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая того, что их мысли еще глупые ребенки, вот и все. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один только бывал избранник Божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? – Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье инога Царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть – *любви к царю*. От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни – об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь

лесть и желанье получить что-нибудь, и такое соображение оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очертывает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его империи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномощная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью звания своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтет без умиленья тех замечательных строф, где говорит, что если и перейдет его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

Что пел я россом ту царицу,  
Какой другой нам не найти  
Ни здесь, ни впредь в пространном мире:  
Хвались, хвались моя тем лира!

Не прочтет он также без непритворного душевного волненья сих уже почти предсмертных стихов:

Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет:  
Екатерины муза дремлет.  
...Петь  
Уж не могу. Другим певцам греметь  
Мои оставлю ветхи струны.  
Да черплют вновь из них перуны  
Тех чистых пламенных огней,  
Как пел я трех царей.

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унес и за гроб ее, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? – вот вопрос. Что весь народ слышит ее каким-то сердечным чутьем, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был ее услышать в высшей степени – это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума. Имея ухо слышать вперед, заключа в себе стремление воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно, с одной или двух сторон, а не со всех четырех, он не мог не прозревать развития полнейшего этой власти. Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполненьем закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды

не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значение великих истин! Это внутреннее существо – силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрание его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н\*\*\*». Вот ее происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принесся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатленье, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторю здесь всю, она же вся в одной строфе:

С Гомером долго ты беседовал один,  
Тебя мы долго ожидали.  
И светел ты сошел с таинственных вершин  
И вынес нам свои скрыжали.  
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,  
В безумстве суетного пира,  
Поющих буйну песнь и скачущих кругом  
От нас созданного кумира.  
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей,  
В порыве гнева и печали  
Ты проклял нас, бессмысленных детей,  
Разбив листы своей скрыжали.  
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты  
Сходить под тень долины малой,  
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты  
Журчанью пчел над розой алой.

Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремиться вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшную ответственность за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, – тот может быть уподоблен древнему боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у

небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам – и забвенью долга нашего, и самый ропот наш, – все, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостью своих мнений, и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастет народная тропа:  
Вознесся выше он главою непокорной  
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья.

Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна *любовь*, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значенье государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выраженью. Все к тому ведет, чтобы вызвать в государях высшую, Божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся наконец до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновенье будет не жестоко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое – быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определять высшее значенье монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограничить ее. А через это и государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть

не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого. Высшее значение монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придет в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царем. И так слился и стал одно-едино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда – государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него или подданный позабудет своего государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля Бога – избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведение на престол никому не известного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: Пожарский, Трубецкой, наконец князя, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предьявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить, и оспаривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго повторял поговорку: «Добро была голова, да слава Богу, что земля прибрала». И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого Завета и которые в то же время так близко видели волю Бога на всех событиях в нашем отечестве, – как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такую суровую трезвостью их звуки: для этого потребно полное и твердое убеждение разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов, чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то еще не доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них вошли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим, и ты уже стал исключением из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие ее струны, от которых проходит тайный ужас и содроганье по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того лиризма, о котором идет речь. Этот лиризм уже ни к чему не может возноситься, как только к

одному верховному источнику своему – Богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно все, что ни есть на земле, если только он не видит на нем напечатления Божьего. В ком хотя одна крупица этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выражение признательности со стороны людской. Собственный лучший подвиг ему вдруг опротивеет, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слишком чувствует, что все высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружилось его истинные отношения к государю и тайны двух его лучших сочинений. Никому не говорил он при жизни о чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того как вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопрятно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, – Пушкину было опасно выходить: его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения, верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Чрез то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк, кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: «Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина». Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас, и всё в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себя черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкреплением. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что прелестью живой стихов я был полезен  
И милость к падшим призывал.

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упавшем! Черта истинно русская. Вспомни только то умиленное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несет от себя – кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не желанье оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде государя в Москву во время ужасов холеры, – черта, которую едва ли показал кто-нибудь из венценосцев и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

Небесами

Клянусь: кто жизнью своей  
Играл пред сумрачным недугом,  
Чтоб ободрить угасший взор, —  
Клянусь, тот будет Небу другом,  
Какой бы ни был приговор  
Земли слепой.

Он умел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье «Пир на Неве», в котором он с изумленьем спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающего кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясенной пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные царю, которые могли быть причиной такого пиროвания: родился ли государю наследник его престола, именинница ль жена его, побежден ли непобедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть государя, и на все это отвечает:

Нет, он с подданным мирится,  
Виноватому вину  
Забывая, веселится,  
Чарку пенит с ним одну.  
Оттого-то пир веселый,  
Речь гостей хмельна, шумна,  
И Нева пальбой тяжелой  
Далеко потрясена.

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это истинно Божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях писатель находится в каком-то неуважении от общества, относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной, — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной: «А еще и писатель!»

1846

## XI. Споры (Из письма к Л\*\*\*)

Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что с обеих сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть, – все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит. Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне европистов и западников тоже есть правда, потому что они говорят довольно подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами; вина их в том только, что из-за карниза, венчающего эту стену, не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и все, что ни есть в вышине. Можно бы посоветовать обоим – одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступить немного подалее. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав, и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более противу себя европистов, которые давно бы готовы были от многого отступить, потому что и сами начинают слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку. Все эти споры еще ничего, если бы только они оставались в гостинных да в журналах. Но дурно то, что два противоположные мнения, находясь в таком еще незрелом и неопределенном виде, переходят уже в головы многих должностных людей. Мне сказывали, что случается (особенно в тех местах, где должность и власть разделена в руках двух) таким образом, что в одно и то же время один действует совершенно в европейском духе, а другой старается подвизаться решительно в древнерусском, укрепляя все прежние порядки, противуположные тем, которые замышляет собрат его. И оттого, как делам, так и самим подчиненным чиновникам приходит беда: они не знают, кого слушаться. А так как оба мнения, несмотря на всю свою резкость, окончательно всем не определились, то, говорят, этим пользуются всякого рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны. Вообще споры суть вещи такого рода, к которым люди умные и пожилые покамест не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ее дело. Поверь, уже так заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Мысль твоего сочинения, которым хочешь заняться, очень умна, и я даже уверен, что исполнишь это дело лучше всякого литератора. Но об одном тебя прошу: производи его в минуты, сколько возможно, хладнокровные и спокойные. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некото-

рых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадок; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе: «Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не деля, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!» Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возраженье, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня.

1844

## ХII. Христианин идет вперед (Письмо к Щ...ву)



Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигли настоящей зрелости и развития и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевались за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок. Но пересмотри жизнь

всех святых: ты увидишь, что они крепили в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего ж это? Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним даль и подвиги – угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желание быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, умнее.

Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двигается вперед, покуда не двинутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлеченными чтениями, размышлениями и беспрестанными слушаниями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность; имя ей – мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубинового незлобия и убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласия во всем. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель; ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возмнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется, и останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни.

1846

### **XIII. Карамзин** *(Из письма к Н. М. Я...ву)*

Я прочел с большим удовольствием похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным. Это лучшее из сочинений Погодина в отношении к благопристойности как внутренней, так и внешней: в нем нет его обычных грубо-неуклюжих замашек и топорного неряшества слога, так много ему вредящего. Все здесь, напротив того, стройно, обдуманно и расположено в большом порядке. Все места из Карамзина прибраны так умно, что Карамзин как бы весь очерчивается самим собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами читателя. Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве. Он первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно. Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды и что она у нас колет глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколет теми заносчивыми словами, которыми скажет свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслушал правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду: все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такою любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя верхушку модного общества, и с какой любовью может выслушать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не любит правды.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.